



ЕВГЕНИЙ
КОСТИН

ПУШКИН:
ДУХОВНЫЙ
ПУТЬ ПОЭТА

МИР
ПРОРОКА

Евгений Костин

**Пушкин. Духовный путь поэта.
Книга вторая. Мир пророка**

«Алетейя»

2018

УДК 82.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

Костин Е. А.

Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка /
Е. А. Костин — «Алетейя», 2018

ISBN 978-5-907030-12-1

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.

УДК 82.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-907030-12-1

© Костин Е. А., 2018
© Алетейя, 2018

Содержание

От автора	6
Бездна Пушкина	9
Явление Пушкина как выбор русской культурой своего пути развития: русский язык как инструмент, цель и результат	14
Конец ознакомительного фрагмента.	24

**Евгений Александрович
Пушкин: духовный путь
поэта. Мир пророка**

© Е. А. Костин, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

От автора

Сдав в издательство первую часть книги и готовя вторую, я неожиданно остановился перед проблемой ее названия. Вначале, у меня была идея назвать ее «Красота, душа и правда», но потом, после первой части, когда необходимо было плотно *пройти* сквозь письма и литературную критику поэта, я понял, что это слишком напыщенно, витиевато, – короче, не пушкински.

И я стал искать название, исходя из того, что для *этой* части книги было приготовлено, а там речь велась и об уме Пушкина, и об его религиозном сознании, и о связи его творчества с европейским Просвещением, и о том, что он стал нашим русским Возрождением – много было тем в подходах к Пушкину, но никак не определялось название всего тома. Точнее говоря, та его характеристика, которая могла бы все, предлагаемое читателю в данном исследовании пушкинского мира, объять, согласовать разные аспекты друг с другом.

Автор, то есть я сам, в этих своих мучениях стал думать, что это, собственно, и понятно, так как он, Пушкин, *присвоил* себе все слова русского языка, и теперь никто из нас, *малых сих*, ищущих себя на ниве русской словесности, не может и не вправе игнорировать то, что он уже сделал, что и как он назвал, изъяснил. Поэтому надо искать название у него самого, отталкиваясь от того, что является центральным, основным для него же, Пушкина.

Конечно, многие из писателей, а также исследователей современной литературы почти не обременены такого рода рефлексией применительно к творчеству Пушкина (он вполне справедливо воспринимается как некая основа культуры, не требующая отдельных специальных размышлений), но если ты хоть немного, хотя бы приблизительно начинаешь соображать над тем, кем же создано это неизбывное богатство русской речи, каковы ее истоки и кто же главный регулятор всего этого таинства, то без имени Пушкина никак не обойтись.

Короче, тупик. Я стал думать о Достоевском, как он писал о Пушкине, как писали о нем русские религиозные философы, наши современники А. Битов, С. Аверинцев, Ю. Лотман, С. Бочаров, А. Михайлов, В. Непомнящий, другие авторитеты, и понял, что они также находились в этой *западне*. Как можно описать явление абсолютного качества и свойства в категориях *нисходящих* – литературоведческих, культурологических или философских? Все они тебя не *поднимают* к пониманию и проникновению в его мир, а, напротив, снижают, – все они становятся своеобразными фигурами или умаления или умолчания.

У тебя есть – говоря метафорически – инструментарий для распознавания *простых* (при всей их возможной художественной и содержательной сложности) явлений литературной деятельности, а перед тобой осуществившаяся высшая форма духовной жизни твоего народа – что и как с этим делать?

Приложение собственной жизни к жизни поэта подчас гораздо уместнее и честнее, когда ты внезапно обнаруживаешь переплетения с его судьбой, с его драмами и радостями любви и дружбы, с изведанным чувством отцовства, семейного счастья, – наконец, он дает тебе урок достойного принятия смертельного испытания по защите чести и достоинства в трагической ситуации дуэли с Дантесом, ощущая и предчувствуя, что живым он из нее не выйдет.

Узнаваемость нас самих в Пушкине, отраженность собственных эмоций и чувств в нем – от воплощенной личности до каждой строки, им написанной, делает возможным только один подход к нему, имеющий прямое отношение к высшим ценностям интеллектуальной и духовной жизни всего народа. Это сопряжение тебя самого с его миром. Но это возможно только в том случае, если этот мир является для тебя *родным*, близким. Но и находящимся н а д тобой, превышающим твои возможности, поэтому название определилось как – «мир пророка». По существу должно было быть – «мир русского пророка», но этот эпитет – *русский* – и так слиш-

ком часто употребляется в книге. А потом в определенной степени это определение *зарезервировано* за Достоевским.

Это название, правда, таит в себе немало неопределенности. Как можно отобразить, описать и тем более понять м и р о р о к а? Как писал сам поэт, через пророка глаголит *высшая сила*, через него выявляются самые заветные и глубокие смыслы существования целого народа и его психологической, религиозной, художественной жизни.

Пушкин – пророк? – Безусловно, если под его пророческой силой мыслить открытие им тех возможностей русского языка, русской словесности, русского человека и самой русской жизни в такой полноте и целостности как никем до него и после него. И это при умопомрачающем воображении богатстве русской литературы XIX и XX веков.

Все преувеличения и ошибки, все построения и концепции, какие читатель обнаружит в этой книге, связаны с самим ее автором и являются отражением его взглядов не только на мир Пушкина, но и на русскую литературу в целом. А по большому счету и на русскую жизнь в ее поразительных исторических и духовных завихрениях.

Не каждому выпадает такое счастье находится внутри культуры, которая с периода своего формирования (по сути с Пушкина) и по сегодняшний день не перестает удивлять мир своими космическими просмотрами человеческой природы, идеалов организации общества, потрясать оценками перспектив человеческой цивилизации, путей развития мировой истории.

Такой вектор развития русской культуры самым определенным образом связан с именем Пушкина; и желая понять, освоить такие явления русского духа, как Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Манделштам, Пастернак, Платонов, Булгаков и многих других русских гениев, понятно, что без Пушкина не обойтись. В этом и состоял внутренний посыл данной книги.

* * *

Пушкин проживает как бы сразу несколько жизней. Это и жизнь светского человека, аристократа по крови, собеседника царя, веселого повесы, приятеля лучших людей своего времени, мужа, отца, первого поэта империи, историка, мыслителя и несчастного, непонятого даже лучшими друзьями, одинокого человека.

Пушкин как гений был безмерно одинок. Это его одиночество не было преодолено ни общением с умнейшими персонажами русского общества, ни женитьбой, ни отцовством, ни нарастающим успехом у читающей российской публики (хотя, заметим, немалое число критиков и литераторов, некие обобщенные *гречи* и *булгаринны* – его ненавидели, клеветали, пако-стили ему: мол, *исписался* наш поэт).

Такова, вероятно, участь гениев, – остаться в одиночестве и получить полное, национальное признание странным метафизическим образом в момент своей трагической гибели, собственноручно почти сразу после смерти. Только, казалось, ухода его и не хватало, чтобы его нахождение на самой вершине национальной русской культуры было увидено всеми, – смерть озарила грандиозность его фигуры, ее исключительность для национальной жизни.

Но не только творчество Пушкина имеет важное для нас значение. Его письма, дневниковые заметки, критические статьи, исторические исследования, оставшиеся большей частью неопубликованными при его жизни, внешне, кажется, не имеющие систематического характера, говорят о том, что на протяжении всей своей жизни он постоянно думал над важными и существенными для него и для русской культуры вопросами.

Эти вопросы оказались крайне важны и для русской литературы, и для русского общества в его духовном развитии. Они оказались связаны с основными проблемами развития русского языка, русской культуры, самого русского человека.

Эти аспекты и коллизии развития России оказались настолько глубоко им *зачерпнутыми*, что их хватило всей русской культуре на 200 с лишним лет и хватит еще не на меньший срок.

Пушкинская жизнь включила в себя практически все основные события национальной истории начала XIX века (Отечественная война 1812 года, восстание декабристов), вместила в себя особые отношения поэта с двумя российскими императорами (Александром Благословенным и Николаем Первым), повлиявшими на его жизнь и творчество; она кристаллизовала, наконец, «золотой век» русской культуры, который по самым высоким меркам может быть назван русским Возрождением, в котором Пушкин занимает центральное место.

К счастью для Пушкина (и для нас) она была связана с интеллектуальной деятельностью такого его современника, как Н. М. Карамзин, который представил русскому обществу русскую же историю, пусть даже и в беллетризованном виде, но открывшим тем самым для Пушкина *бездны* возможностей художественного творчества («Борис Годунов», «Капитанская дочка», «История пугачевского бунта», «История Петра» и многое другое). Наконец, пушкинская эпоха – это время формирования русского литературного языка, которое шло практически полностью под его влиянием. Но более того – и об этом мы постоянно будем упоминать – Пушкин приложил к созданию основ того самого русского метафизического языка, без которого в дальнейшем не было бы ни Достоевского, ни Толстого, ни русской религиозно-философской мысли.

* * *

Как замечательно, что в русской культуре был именно он, Александр Пушкин. Своим развитием, становлением человеческой личности, творческого гения, пониманием основных скреп русского общества, тайных пружин истории он не только намного превосходил самых образованных и культурно подготовленных людей своего времени, но такое ощущение, что недостижимым идеалом он остается и для нас, русских людей XXI века.

Прежде всего поражает его художественный гений, точного определения которого еще не дал ни один исследователь. Все, что написано о нем, это только приближение к «тайне», к смыслу его творчества. И что замечательно, любой исследователь – от Ф. Достоевского и Владимира Соловьева до В. Непомнящего и Ю. Лотмана с радостью соглашались и согласятся, что они не до конца, не полностью понимали и понимают тайну поэта, свойства его таланта.

Это тот самый случай, когда *невозможность окончательного, полного* охвата содержания его деятельности естественна, она заложена в отношениях между нами и поэтом по определению – настолько значителен и всеобъемлющ был его гений. Но еще что удивительно – насколько гениально умен он был как человек. Его пронизательность, острота мысли, интуиция (умение помыслить верно и определенно о предмете или явлении только на него взглянув, едва с ним ознакомившись), легкость ассоциаций, поражающие философской глубиной суждения о человеке, природе, самой жизни, рассыпанные с поразительной щедростью по страницам его произведений, мало с чем сравнимы в богатейшей истории русской литературы.

Такое ощущение, что природа долго готовила этот подарок России, выплеснув через него то, что сосредоточивалось в митрополите Иларионе, Данииле Заточнике, протопопе Аввакуме, Петре Великом, Ломоносове и Тредиаковском, Суворове и Кутузове, у русских старцев и затворников – во всем многообразии русской до-пушкинской жизни. Понять Пушкина – это возможность приблизиться к пониманию России.

Автор надеется, что данная книга может стать помощником на этом пути для заинтересованного читателя.

Бездна Пушкина (Вместо вступления)

«У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну» (Слова, приписываемые Пушкину. Из Дневника М. П. Погодина)

Загадка пушкинского «ключа» ко всей русской культуре почти не имеет аналога в мире. Можно вспомнить примеры Данте в Италии, Гете в Германии, Шекспира в Англии, над творчеством которого немало размышлял русский поэт, но все же его явление в нашей культуре носит исключительный характер. Ведь это единственный наш национальный писатель, который однозначно и безусловно признаваем всеми – царями, аристократией, простым народом, литературными последователями, несмотря на принадлежность к разным литературным эпохам, направлениям и т. д. Не будем же мы всерьез обсуждать призывы русских футуристов «сбросить Пушкина с корабля современности», тем более, что главный их вожак, «главарь и горлопан», достаточно быстро преодолел детскую болезнь «левизны» в культуре и признался в самой искренней любви к нему (Маяковский).

Набоков, у которого свой перечень – и немалый – претензий к русской литературе, для кого всемирный гений Достоевского всего лишь скверное и неверное ответвление в русской словесности, кто раздал резкие оценки многим и многим русским литераторам – Пушкина *боготворит*.

Вот что он писал в своей статье, вышедшей в 1937 году¹, к столетию со времени смерти поэта: «Читать все до одной его записи, поэмы, сказки, элегии, письма, драмы, критические статьи, без конца их перечитывать – в этом одна из радостей нашей жизни» [1, 415].

Конечно, раз за разом, в каждую эпоху человек русской культуры будет повторять слова о «тайне Пушкина». Есть она и никуда нам от нее не деться. И в любое время каждое новое поколение русских людей будет открывать в нем что-то такое, особенное, что не было увидено или понято ранее. К этому надо относиться как к данности, как к географическим просторам России, как к много населенности ее различными этносами («Русь великая», о которой он писал в своем «Памятнике»), как к состоявшейся истории народа и государства в череде великих побед и испытаний, как даже к тому, что без Пушкина Петербург уже и не будет Петербургом, одним из величайших городов мира: если убрать, «вынуть» Пушкина из истории города – осиротеют: набережная Мойки, *брега* Невы, Летний сад, Невский проспект, Черная речка – город окажется другим.

Та полнота воплощения всего русского – в мысли, слове, эмоциях, исторических воззрениях, взглядах на будущность отечества, в типе любви, в верности дружбе, товариществу, в соединении в нем удали и уныния, хандры, в чувстве светлой радости жизни, влюбленности в родную природу и многое иное, что является неотъемлемой частью нашего менталитета, эстетического генотипа, русского характера, русского ума – у Пушкина все это и многое другое раз и навсегда достигло своего абсолютного воплощения.

¹ Надо заметить, и я благодарен Н. В. Корниенко за уточнение в ходе дискуссии на конференции, посвященной Вс. Иванову в ИМЛИ (2015), что в советской России в 1937 году, при праздновании двадцатилетия Октябрьской революции, количество материалов, опубликованных в самых различных изданиях – от газет, журналов до книг и сборников статей и посвященных Пушкину, превышало число публикаций, связанных с первой крупной датой советского государства. На первый взгляд легко увидеть в этом известную идеологическую установку власти (правда, чтобы тут же задаться вопросом, а почему для власти юбилей поэта оказался важнее ее собственной истории), если не учесть ту по сути метафизическую потребность новой русской культуры опереться на что-то такое, что является совершенно незыблемым интеллектуально, эмоционально близким и безотчетно любимым.

Стиль Пушкина, фонетическая сторона его языка, интонация, образы, метафорическая система, точность и краткость прозы, хватаящая за душу античная ясность его зрелой лирики, глубокое религиозное чувство, проявившееся у него в стихах 30-х годов, безусловный патриотизм и государственный взгляд на историю России, трезвость взгляда на недостатки и народного характера и общественного устройства – и одновременно порыв к действию, к преодолению противоречий жизни, прежде всего через слово и тексты, но и готовность поступить также в реальной жизни (его откровенные слова Николаю о том, что он непременно оказался на Сенатской площади, случись быть ему в Петербурге, и – он рвался туда, узнав о первых волнениях).

И Лермонтов, и Толстой, и Гоголь, и Достоевский, и Тургенев, и Чехов, и Бунин – все великие русские писатели все же были склонны к каким-то индивидуальным определенностям и, соответственно, отличиям эмоционального и мировоззренческого рода, и только у него одного все это предстало разом, одновременно, заполняя все лакуны русской культуры, русской души и национального характера.

Он же через всю свою поэтическую и духовную деятельность и формировал этот характер, шлифовал его, выводя не только Евгения Онегина и Петрушу Гриневу, но и Германна, Татьяну Ларину, Пугачева, Савельича, Моцарта, Петра из «Полтавы», станционного смотрителя и дальше по списку – все персонажи его поэм, драм, прозы; все это он оставил после себя, над чем впоследствии, не покладая рук, трудилась русская культура.

Он как бы снял верхний слой необработанной почвы русской культуры и под ним обнаружил истинный «чернозем» в духовном смысле. Он расчистил площадку для всей последующей русской жизни.

* * *

Конечно, Достоевский был прав, говоря о «чрезвычайности» гения Пушкина, его *космической* экстраординарности. Но в этой патетике говорения и суждения о Пушкине всякий раз неизбежно пробивается к нам его понятная и близкая человеческая натура, его страдания в любви, ревность и бешеная страсть, верность слову, защита своей чести, рано им угаданные и понятые свойства русского народа и русской истории.

Читая литературу о Пушкине, почти уже бесконечную, пробираясь сквозь многочисленные интерпретации его произведений и творчества в целом, оценки отдельных его героев, тем, сюжетов, пытаюсь осознать его воздействие на последующую русскую литературу и культуру вообще, не покидает ощущение, что ты что-то упускаешь, не учиываешь, отступаешь от главного.

Оно, кажется, находится почти рядом, на поверхности, но не дается тебе в руки, и ты невольно попадаешь под власть уже когда-то высказанных мнений, суждений, точек зрения. Особенно это характерно для важнейших ключевых периодов жизни поэта: ссылка, разговор с царем, женитьба, Болдинская осень, дуэль и смерть.

Это же не фигура речи, что Николай стал *цензором* Пушкина, ведь именно его *вкрапление* до сих пор является частью «Графа Нулина» – замена слова «урыйльник» на «будильник». Отчего русскому царю вдруг стало необходимым *приручить* поэта, стать его *наставником* – так, как он это понимал – в известной степени защищать его? Ведь есть несколько удивительных фактов. Зададимся вопросом: зачем Николаю было важно вызвать Пушкина из Михайловского, из ссылки, на коронационные праздники в Москве в 1826 году, потребовав немедленно доставить его в Кремлевский дворец, не дав ни умыться, ни отряхнуть дорожную пыль, и проговорить с ним без малого 2 часа, а потом заявить одному из своих высших чиновников, понимая, что эти слова разойдутся по всей стране, – *я вчера говорил с умнейшим человеком в России?*

Ведь это же Николай дал определение барону Геккерену как «гнусному мерзавцу», и с тех пор эта оценка по сути не претерпела особого изменения в умах многочисленных пушкинovedов и читателей.

Будучи совсем неглупым человеком, Николай не мог не понимать, что поэт, стихи которого, независимо от их содержания (и не только политического), просто *стихи*, находились в бумагах в с е х без исключения задержанных, арестованных, сосланных в Сибирь, *повешенных* представителей лучших семейств России – декабристов, не может не быть явлением исключительным. Стало быть стихи его обладают неимоверной силой влияния на людей, причем людей критического направления, людей, которые готовы переменить общественное устройство страны, *устроить* «революцию».

С т а к и м поэтом (человеком) необходимо было «работать». И Николай *работал*. Причем на постоянной основе. Нельзя сказать, что без успеха. Пушкинские стихи «Нет, я не льстец...», в которых Пушкин описывает свои взаимоотношения с императором, Николай своеобразно откомментировал собственноручной записью на письме Бенкендорфа: «Публиковать не надо, но... можно распространять». Как сегодня мы сказали бы – в социальных сетях того времени, через передачу отклика царя *в свете*, что, конечно, возымело во много крат больший эффект, чем простая публикация в литературном журнале.

Но он настаивал на праве государства постоянно следить за Пушкиным, как, собственно, за князем П. А. Вяземским, П. Чаадаевым и другими *вольнодумцами*, и далее – за Петрашевским, Белинским, Герценом, Огаревым и т. д. Такое *подозрительное* отношение к Пушкину происходило не оттого, что Николаю приходило в голову, что тот готовит новый тайный заговор. Нет, с Николая достаточно было и того, что из своего первого, решающего разговора с Пушкиным в сентябре 1826 года он знал, что тот *против* бунтов и революций, что он совсем по-иному смотрит на развитие России, чем его друзья-декабристы; к тому же Пушкин дал ему «честное» слово дворянина не ввязываться ни в какие «тайные» общества, и вдобавок написал ему в этом *расписку*.

Николая смущала эта до конца им непонимаемая сила пушкинского творчества, которая влияла на людей вопреки логике, формировала их нравственность совершенно иным образом, чем хотелось власти (чего, собственно, хочет любая власть во все времена). Николаевская администрация изящно называла это *нравственным воздействием*, и была совершенно права. Только *одно* власть (Александр, Николай, Бенкендорф, Дубельт, Мордвинов) не учитывала в нем. Это его стихийность. Не характера, не образа поведения, не манеры думать (чего хватало в Пушкине в каждом из этих его проявлений), но как основы его творческого существования, как выражение самой сущности русской жизни.

* * *

Но вернемся к тому, с чего мы начали – к пушкинской *бездне*, в которую как ни заглядывая, *все равно дна не увидать*; и от нее также кружится голова, как у него от Шекспира. Гоголь это подметил в нем и сказал, не зная о записи М. Погодина: «В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт»².

Какой нам урок сегодня от пушкинской истории жизни и творчества? Конечно, природа не настолько богата, чтобы с какой-то частотой дарить нам новых Пушкиных, Лермонтовых или Толстых. Да дело и не в этом. Дело в том, что необходимо хоть когда-то, хоть раз в жизни поднять голову и увидеть их сияющие вершины, или заглянуть в глубину (бездну) их открытий человека и его перспектив.

² Это слово по-своему было любимо поэтом: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю» («Пир во время чумы») или из «Полтавы»: Кто испытующим умом Проникнет в бездну роковую Души коварной...».

Надо же нам было так в России устроиться, что когда-то давно, более 200 лет назад у нас появился защитник в духовном смысле. Он объяснил нам нас самих сегодняшних, дал направление развития национальному характеру, сплочению народа, сам того специально не желая или, по крайней мере, не так часто об этом думавшего. Но написавшего и об этом!

Израсходовали ли мы золотой запас нашей классики? Не подзабыли ли мы те уроки и наставления, что она нам – не менторски, не нравоучительно, но с сердечной страстью и болея за нас, за будущих русских людей – дала. Большой вопрос...

Мост, конечно, перекинут. Вот он держится, как на опорах, на тех русских писателях, которые наследуют Пушкину. А ему наследуют – лучшие, основные, корневые. Размышляя о том, что мы уже 180 лет живем без Пушкина, не будем предаваться унынию, а своими делами изучения русской литературы и культуры дальше укреплять тот мост, о котором сказано выше. Нельзя дать разрушиться «связи времен», как было сказано у Шекспира и сказочно сильно подхвачено Пушкиным.

* * *

Когда серьезное делается мимоходом, когда «милые привычки» становятся важнее каких-либо жизненных обязательств, когда гениальность *льется* как бы сама собой и не требует какой-то специальной подготовки – это все он, Пушкин. Быть более русским, чем Пушкин – невозможно. Достаточно перечитать, пересмотреть все, что он делал, писал, о чем мечтал, как он влюблялся, ссорился с царями, рожал детей, бретерничал, был верен друзьям, был в плену книг и культуры, – но все это как бы случайно, не как карьера, не как способ *делания жизни* — от звезды к звезде, от чина к чину.

Да, он был влюблен в свое старинное дворянство, счастлив своей почти родственной связью с Петром Великим, он любил и понимал *свет*, хотел блистать в нем, но тут же все это не казалось ему слишком важным, основным. Можно представить себе такую парадигму, которая объединяется Пушкиным. Он – и аристократ, и светский человек, и европеец, и волокита, и мот, и картежник, и бретер, – но и литератор, историк, мыслитель, философ, русский «умник».

У Набокова есть тонкое замечание о свойствах пушкинской эпохи. Он писал: «Создается впечатление, что во времена Пушкина все знали друг друга, что каждый час был описан в дневнике одного, письме другого и что император Николай Павлович не упускал ни одной подробности из жизни своих подданных, точно это была группа более или менее шумных школьников, а он – бдительным и важным директором школы. Чуть вольное четверостишие, умное слово, повторяемое в узком кругу, наспех написанная записка, переходящая из рук в руки в этом непоколебимом высшем классе, каким был Петербург, – становилось событием, все оставляло след в молодой памяти века» [1, 418].

Известная интимность жизни в первую очередь не высшего света, но «света» пушкинского круга, конечно не может не поражать сегодняшнего читателя, усердного посетителя фейсбука и твиттера, усиленно считающего, какое же количество «друзей» будет ставить ему «лайки» на какую-нибудь обыденную вещь, им высказанную, или сделавшему фотографию своего сегодняшнего завтрака или чего-либо еще. Какая уж тут интимность – напротив, все открыто для просмотра, оценки и приятельства «в сети».

Для общения в пушкинское время необходимо было написать письмо или записку, прийти в гости, пообедать вместе, отправиться в совместное путешествие, которое по особенностям эпохи составляло непростое предприятие – поездки по бесконечным просторам России по известным дорогам в компании с ямщиками с их заунывными песнями, непрменные мелькающие лица станционных смотрителей, все время жалующихся на отсутствие лошадей и желающих сбыть проезжим веселым путешественникам лошадок поплоше, однообразные, но

этого еще более милые поля, пригорки и овраги, леса на горизонте, купола одиноких сельских церквушек, бредущие по дорогам калики перехожие и бойкие мужички...

И вся эта русская жизнь – от отношения с царями, от переписки с друзьями, от влюбленностей в женскую красоту до очарования русской природой, до подробного описания ее состояний, от путешествий до милых пристанищ в усадьбах и родовых селениях – все это, да и многое другое, вошло в пушкинское творчество, развило русскую культуру, стало неотъемлемой частью каждого человека, говорящего и думающего на русском языке.

Труднее, кажется, найти то, что он не успел сделать для русской жизни, чем описывать то, что он сделал. А это, без сомнения, почти вся наша, в том числе и сегодняшняя, жизнь. Наш современный духовный мир, наша нравственность, наши представления о главных ценностях этого бытия без Пушкина были бы или другими, или другими были бы мы сами.

Попробуем прочесть и понять Пушкина еще раз, в меру тех возможностей и подходов, которые определяются автором книги, исходя из понимания пушкинского центрального положения в истории русской культуры и в духовном развитии русского человека.

Литература и комментарии

1. *Набоков В.* Пушкин, или правда и правдоподобие // Владимир Набоков. Лекции по русской литературе. М., 1996.

Явление Пушкина как выбор русской культурой своего пути развития: русский язык как инструмент, цель и результат

Пушкин, на самом деле, исключительное явление русской культуры. Тогда, когда появился Чаадаев со своими «Философическими письмами» (1836, писались же они на протяжении второй половины 1820-х-начале 1830-х гг.), которым мы посвятим немало страниц в соответствующих разделах данной книги, он, по существу, отражал общепринятое представление, что Россия – «закончилась», еще не начавшись. Россия – страна «небытия», страна, которая, по мнению не только Чаадаева, но значительной части просвещенного и образованного русского общества, должна была что-то *сделать* с собой, чтобы попасть в круг *состоявшихся* и цивилизованных стран.

Поразительно, но многие тезисы, которые проговаривал якобы сумасшедший русский философ, остались востребованными на протяжении более чем двухсотлетней истории России после Пушкина и Чаадаева. То же самое, только в несколько других выражениях можно обнаружить в суждениях русских мыслителей начала XX века, в советское время (исподволь, в глубине и нелегально) и особенно сейчас, когда сняты все внешние скрепы цензуры и ограничений в области высказываемых теорий, концепций etc.

Замените имя Чаадаева на имена современных либералов (читателю придется поверить автору, что он имеет в виду всего лишь *тренд* определенной интеллектуальной парадигмы, не пытаясь даже приладить к нему какие-либо оценки) и вы получите практически тот же самый дискурс, до мелочей, до отвратительного психологического *дежа вю*, с ощущением того, что русская история идет по кругу, не развиваясь вовне и не пытаясь что-то изменить.

Все достижения русской (советской) цивилизации в рамках этого дискурса носят какой-то необязательный характер, они сразу, после их осуществления, замалчиваются не только на Западе, но и внутри самой России, потому что логического как бы объяснения того, что совершается в рамках этого *мира* (России) – будь то победа в беспрецедентной во всей мировой истории по понесенным жертвам Отечественной войне, будь то достижение ядерного паритета с Америкой, будь то первый спутник и первый человек в космосе – нет, все это не принимается западным мессианским сознанием и описывается, как *ошибка* или заблуждение, варварская «искаженная» пассионарность и т. п.

Мы почему-то удивляемся, отчего большая часть современного западного общества не только не знает, кто же был настоящим победителем во Второй мировой войне, кто послал первого человека в космос, но искренне убеждена, что это был исключительно западный мир, западная цивилизация. И вопрос не просто в пропаганде, которая, якобы, лучше *сработала* у них, а не у нас, но в мессианском понимании того, что *все*, что только может быть *благого и совершенного* в этом мире, возможно только со стороны Запада.

Мы находимся в нем мыслительного усилия западного человека, нас там нет, и быть не может, исходя из внутреннего ощущения западного мира в том, что *всё*, складывающееся в *этой* действительности – от античности до мира компьютерных технологий, связано с ним, его, Запада, развитием.

Пушкин, поэтому, и есть ответ на вопрос, почему нельзя, чтобы *чаадаевщина* взяла вверх в русском сознании. Легко уцепиться за положение, что на самом деле все не так плохо, как описывает несостоявшийся декабрист Петр Яковлевич Чаадаев, и другого выхода для русского народа нет из ситуации, кроме того, что ему необходимо повторять *зады* западной цивилизации, или успевая или не успевая за ней.

Когда мы говорим о Пушкине, мы одновременно говорим о том взгляде на историю России со стороны всемирно-исторического подхода, который так его интересовал; допетровская Русь была унижена и оболгана западным сознанием и западными же силами и в д р у г, усилением воли и исторического провидения всего лишь одного человека, Петра, эта страна превращается в несокрушимый столп русской государственности и русской человеческой индивидуальности.

Русский XVIII век, скорее всего, и будет являться главным веком в русской истории, несмотря на мировые достижения культуры XIX века, так как он создал главную русскую парадигму – восстать из *ничего* и сделать в с е. Пушкин выстрадал своей мыслью и своим творчеством представление о *русской* состоявшейся *историчности*, так как отчетливо представлял, что без нее *ничего* значительного, в том числе и его самого, не было бы.

То избегание пропастей и зияний между прошлым своим состоянием и нынешним, между народившимся и умершим, напрочь забывая последнее и от него отказываясь; это умение перепрыгнуть через пропасть в о д и н прыжок, когда и двух мало, – это русская черта, сформированная в XVIII веке и прежде всего Петром. Но и Пугачев был важен для Пушкина, так как в нем он разглядел ту несравненную русскую мужицкую индивидуальность, без которой, скажем так, и царской индивидуальности не было бы. Он явно увидел в нем оформление русского *Я* в самых низовых слоях русской культуры.

Отсутствие последовательности и эволюционности, мгновенное усвоение достижений западной культуры, даже слегка с нею соприкоснувшись, особый дух индивидуальности, который уже изначально отказывается от всех своих прерогатив в предстоянии перед миром – *раб царя, отец народа, спаситель отечества*, именно в таком ключе начинает развиваться архетипическое по своим основаниям сознание русского человека. Эти и другие *предельные* русские обобщения, совершаются русским человеком, забывающим во многом свою собственную субъективность, – и получается, что русский человек никогда не равен самому себе, он всегда несет в себе превышающие его собственную индивидуальность характеристику и начала.

Какая «капитанская дочка» *отдельно*, какой Пугачев *отдельно*? – все они от Гринева и Савельича до Екатерины Великой и коменданта крепости Миронова с его бессмертной женой, которая управляла гарнизоном, как своим собственным двором, – все они и есть единый русский народ, где расстояние между отдельными частями не так велико, как кажется изначально.

Пушкин *встал* и стоит до сих пор как раз на этом великом перепутье русской истории, когда все, что только можно было представить в определяющей индивидуальности русского человека, (от богохульства и атеизма до религиозного раскаяния и покаяния, от придавленности полицейским надзором до космической свободы в области духа) необходимо было фиксировать и осмыслять в формах культуры и художественно выраженных стереотипов поведения. Надо было русской культуре определяться в этом отношении: на что *поставить*, что *педалировать* и чем поступиться, от чего надо отказаться. Отказ, как это очевидно сейчас, происходил по большей части в сфере личных свобод и гражданского общества, но он-то и гарантировал выживаемость ц е л о м у организму. Ведь нигде так активно, и почти всеми идеологическими лагерями, как в России, не склоняли, не клялись, не обращались к понятию н а р о д а. Совершенно очевидно, что оно является во многом ключевым для культурного гено типа русского человека.

Гоголевский мир «мертвых душ» – это продолжение поисков Пушкина. Гоголь попытался *разгрести* все то, чем не занимался поэт и что было ему не очень интересно. Да – Сальери, да – Швабрин, да – Германн, но не более того; Пушкина интересует предельное состояние *человеческой позитивности* в ее соотнесенности с высшими – религиозно-православными, как это выясняется у поэта на завершающем этапе его творческого пути – ценностями. Гоголь попытался было *разобрать* весь этот, «не-русский» по существу, человеческий мусор, и задохнулся, обмер, совершил слабую попытку противопоставить этому миру нечто позитивное, но это было так слабо и ничтожно, что он умер...

Русская жизнь и русская культура испугались Чаадаева, не столько его самого, который был плоть от плоти русской офранцуженной утонченной дворянской культуры, сколько от его тяжелых, как шаги Командора в «Каменном госте» у Пушкина, обвинений в адрес целого народа, громадного государства. Его суждения были как приговор, не подлежащий ни отмене, ни уточнению. Пушкин выступил, по сути дела, единственным реальным ответом этим обвинениям. И не только Чаадаева, но маркиза де-Кюстина и многочисленных их последователей. Разными были их мотивы, аргументы, способы доказательств, но исходная точка была одна и та же: не может существовать э т а страна «на-равных» с другими государствами и культурами.

Ответ Пушкина – это не просто частный ответ его как мыслителя и художника в конкретной переписке с Чаадаевым, но это ответ всей русской культуры, русской *витальности*, которая еще со времени «Слова о полку Игореве» (поэма о военном поражении), времени протопопы Аввакума (рассказ о собственном поражении перед государством и судьбой) во всяком своем отрицательном состоянии и «небытии», с точки зрения западных наблюдателей, возникает вновь и вновь, как Феникс из пепла, добавляя при этом к мировому художественному богатству – не кусочки, не частицы, но целые глыбы невиданных и не понимаемых прежде в мире смыслов.

Именно с Пушкина начинается этот нескончаемый разговор о р у с с к о м не только как о варварстве в оболочке то ли европейского, то ли азиатского государства, но пугающем (условного западного наблюдателя) творческом начале преодоления хаоса бытия, о создании таких смыслов и идей, которые, если и приходили в «голову» западному человеку, то отвергались с порога, как бракованные и ненужные.

Именно что с Пушкина начинается это *странное* движение русской культурной мысли к идеалу, который так внешне, казалось бы, похож на то, что есть на Западе, но внутри оказывается наполненным совершенно иной сутью, иным содержанием и, как правило, ментально враждебным западному мирозерцанию.

Именно то, что Пушкин *защитил* русскую культуру от тотальных нападков в «нежизненности», в неполноценности, в не-оригинальности и т. д. и составляет его главную заслугу перед русской культурой. Он сказал раз и навсегда, четко и определенно, что народ с *таким* я з ы к о м, с *такими* представлениями о душе человека, о его перспективах, о своей историчности – такой народ содержит в себе великие потенции.

После явления Пушкина русскому народу можно было и *уснуть*, ничего не делая, в культурном смысле, так как все, что было необходимо было сделать, сделал Пушкин. Но разбуженная им творческая сила русской нации, породившая Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина, Блока и ряд других талантов русской литературы, которые в иных культурах составили бы славу гениев и спасителей (в культурном смысле) целых народов, была такова, что она реализовалась (с разными, конечно, результатами) и в явлениях социальной революции, в преображении громадного пространства России, в покидании земли и устремлении в космос – это все он, Пушкин³.

Вся эта грандиозная *машина* России, которая никем до Пушкина не была описана в духовно-целостном виде и которая представляла собой метафизическую загадку для всякого стороннего наблюдателя или визитера, ее посещающую, (да и для самих русских императоров это было сложнейшей административной задачей – изъяснение этой проблемы Николаем де Кюстину во время их встреч зимой 1839 года), – должна была как-то соединена, понята как некое – не географическое, но культурное и духовное единство. Даже фантастические усилия Петра Великого, который, *размахиваясь* направо и налево, смог реально утвердиться в балтийском приземноморье, получил возможность влиять на южные рубежи своей державы (пока еще

³ Автор надеется, что употребление им некоторых риторических фигур при описании историко-культурной ситуации России рубежа XVIII – начала XIX веков будет адекватно воспринята читателем.

не империи – это сделает вслед за ним Екатерина Великая), были недостаточны, но – чтобы увязать и соединить все это пространство, необходимо было иное, даже не государственное, но метафизическое напряжение сил.

Определить такую *структуру*, как русское государство, невозможно только при помощи какой-то исторической логики или думая об исторической целесообразности, без сомнения – это действие сил особого провидения. Зачем, к чему соединять народы, культуры, языки, психологии – нет ответа в области логического устройства государства и государственного тела. Смысл во всем этом только один – религиозно-метафизический. Скрепить такое многообразие племен, языков, общественных устройств можно было даже не религией, так как Россия интегрировала в себя множество иных, не христианских верований, – но только одним – *русским языком*.

Пушкин – главный интегратор русской государственности и русской культуры. Он, а не в будущем железные дороги, соединил русское пространство таким образом, что крепче ничего и никогда не бывает. Именно русский язык, который своей бытийственной сутью вдруг, совершенно незаметно, поднимал средневековые племена до уровня мировой цивилизации, стал главным обручем, скрепившим Россию на много лет вперед.

Если кто хочет погубить Россию, он должен погубить русский язык. Тот язык, который важнее и серьезнее всего того, что о нем могут помыслить всякого рода недоброжелатели России. Слово Пушкина охватило весь этот несформированный хаос России, его упорядочило, объяснило в известной степени и – главное – породило внутри этой культуры новый, прежде неизвестный ей смысл. Смысл поиска того, чего еще не было, того, что не было помысленно, того, к чему еще не подобралась другие народы и культуры. Пушкин *лег* в основание *русской идеальности, русской идеи*.

Тот охват русской культурой всего, что только попадает ей навстречу, что можно поименовать несамостоятельностью, *вторичностью* ее усилий, на самом деле оказывается главным ее преимуществом: *справляться* со всем, что попадает в сферу ее воздействия, преобразовывать, исходя из собственных предпочтений и намерений. Не стоит даже и говорить, что Пушкин здесь один из главных «крийторов» русского взгляда на мировую цивилизацию.

* * *

Название этой главы является отчасти и неточным, его необходимо расширить – от «*выбора русской культурой своего пути развития*» до «*выбора Россией своего пути движения вперед*». И здесь надо разбираться, почему именно с именем Пушкина мы увязываем столь решительное обновление исторической парадигмы России.

Ни один из русских писателей первого ряда, а русской литературе есть из кого выбирать, не может, помимо Пушкина, ассоциироваться с возможностями самого радикального влияния на духовное состояние целого народа, на коррекцию исторического пути страны. Только один писатель может быть указан в этом отношении – это Пушкин. Развитие поэтом принципиальных основ психологии, интеллекта, идеальной сферы, языка, литературы, культуры в целом *всего народа*, – непостижимо для объяснения изменений русского общества эволюционным образом. Должно быть ключевое звено в этом отношении. И оно есть – это русский язык, преобразованный и обогащенный Пушкиным самым блистательным образом.

О работе Пушкина над русским языком мы пишем в *первой книге* своей работы, и там указываем на целый ряд суждений поэта, в которых он сетует на отсутствие в русском языке, по сравнению с иными европейскими языками, аналитических начал, «метафизики», – этому же посвящены и отдельные главы *книги второй*. И это было совершенно справедливое замечание (отсутствие «метафизики» в языке) Пушкина. Но какого рода работу он производит?

Его пути работы над русским языком не связаны с изобретением новых абстрактных слов или выражений. Или с попытками перевода, транскрипции существующих понятий во французском или иных языках, на русский язык, – он выбирает совершенно иное направление.

Он обнаруживает в самом языке, в полноте его лексического состава, грамматического богатства, «спящие» как бы возможности, которые начинают в его творчестве развиваться не по пути выработки предельной абстрактности и отвлеченности, но по вскрытию в них – уже существующих и многократно употребленных словах русского языка – потенциалов новых значений, новых смыслов.

«Маленькие трагедии» Пушкина – это приходящий сразу на ум пример высокой философии и подлинной метафизической глубины, которые возникают в тексте не при посредстве употребления слов «онтологического» звучания, но через всю совокупность и словесного состава трагедий, и сюжетного развития, и композиционной стройности текстов, и высказанных суждений героев, и, наконец, по громадности выраженного в них философского содержания.

Это содержание выглядит как открытый Пушкиным смысл существенных сторон бытия, которые были спрятаны за наносными и поверхностными проявлениями, и нужно было снять верхний слой значений слов, чтобы вскрыть глубину и тайну жизни, и тайну человека при посредстве тех же самых слов и их сочетаний, которые еще вчера в русской литературной традиции могли только слегка, внешне, напоминать глубину метафизических открытий, произведенных Пушкиным.

В русской культуре, в ее «языковой части» изменения заметны менее всего. Достаточно позднее формирование русского литературного языка, причем, если посмотреть в этом отношении на пример Н. М. Карамзина, оно происходит в историческом по большей мере дискурсе, говорит, с одной стороны, казалось бы, о его неразвитости, а с другой, об известном сопротивлении, которое этот язык оказывает происходящим изменениям [1].

Мы не будем фиксировать подробно синтаксические и грамматические изменения, произошедшие в русском языке в эпоху Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Заметим только, что немалое воздействие на эти аспекты языка оказал прежде всего французский язык. От этого, кстати, тот удивительный эффект поразительной литературной грамотности громадного числа русских аристократов и иных представителей русского образованного общества, оставивших свои воспоминания, мемуары, написанные на русском языке. Мало того, что они написаны на *хорошем* русском литературном языке, но логическая лапидарность, убедительность изложения, все это, безусловно, несло на себе отпечаток «аналитического» французского языка.

Нас же в большей степени интересует та часть русского языка, которая сопротивлялась *воздействию* других языков, сохраняла связь с теми древними пластами языка, которые были *видны* во времена Пушкина в устном народно-поэтическом творчестве, в бытовой речи русского крестьянства.

Это тот пласт, который фиксировал свое отношение к действительности через лексико-семантический состав русского языка, но также и через определенные грамматические формы особого рода и содержания. Как нам представляется, *высказывание* в русской художественной речи не стремится к аналитической *определенности* завершающего или ограниченного по той или иной характеристике *суждения*, представленного в этом высказывании. Оно как бы оставляет известный зазор между определенностью и неопределенностью формируемого в суждении отношения к действительности.

Это своеобразное «мерцание действительности» почти немислимо для языков *романо-германского круга*, которые устремлены на известную *закругленность* высказывания, его феноменологическую целостность. В русском языке слишком много открытых потенциалов, через которые и *дышит* действительность, точно не утруждая себя окончательной завершенностью.

Можно с известной степенью осторожности сказать, что русский язык содержит в себе избыточное количество полисемантических элементов, которые всякий раз оказываются шире тех или иных завершающих интерпретаций.

Этот феномен напрямую связан с эпистемологией русского языка. С той его особой ориентированностью на *познание*, стремящееся не к ясности и определенности, а к усложненно-двойственному, многосмысленному пониманию бытия при помощи данного языка.

Пушкин не случайно ратовал за необходимость развития в русском языке собственной «метафизичности», ему не хватало ее в его возрожденческом усилии прозрачного и четкого описания объективной реальности (и не только), но эта метафизичность (по типу западного «образца») не появилась и позже. По крайней мере в том виде, в каком она уже существовала в других культурах и языках. Русская культура и, соответственно, русский язык пошли по другому пути.

Много раз было сказано, и автором данной книги в том числе, что русская философия носит во многом художественный характер. Собственно философские труды создавались известными русскими мыслителями на материале, заимствованном из других культур, и его интерпретация становилась самой сильной стороной их трудов.

Но главное движение русской философской мысли шло по пути или неприкрытого художества (Толстой, Достоевский, Тютчев) или через дискурс, который по существу ничем не отличался от эстетического высказывания (Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Карсавин и вся русская религиозная философия), вплоть до *сегодняшнего дня* – М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев.

С. С. Хоружий абсолютно прав, говоря о своеобразии русской философской мысли как явлении, созданном на пересечении собственно философского и религиозного суждения (православие как доктрина). Именно через православие (через *восточную* ветвь древнегреческой культуры, как это чудесно раскрыто у Лосева и Аверинцева) пришла гносеологическая *парадигма* языка, а впоследствии и всей культуры, на его основе созданной, ориентированная не на *п о з н а н и е и а н а л и з*, а на *п о н и м а н и е*, *п р о н и к н о в е н и е* и *о ц е н к у*.

* * *

Можно проще сказать, универсальная *синтетичность высказывания* является отличительным признаком русского языка и соответственно текстов, на его основе созданных. Этот синтез предполагает, что происходит собирание разных позиций, точек зрения, отношений, при котором пропадает личностный аналитизм, субъективность и определенность суждения, а торжествует обобщенно-соборный (не могу отказаться от такого определения!) уже и не взгляд, а стереоскопия понимания и проникновения в действительность.

Менее всего русский язык расположен к тому, чтобы он подвергался исследованию с точки зрения структуры, знаковой системы. Хотя это вполне возможно, и вся структурная лингвистика, созданная в России в XX веке, это подтверждает. Но систематизация закономерностей и функций русского языка не приводит к тем результатам культурного плана, о которых мы говорим в первую очередь. (В то время, как языки аналитического плана вполне позволяют это сделать. Переход от структуры языка к структуре мышления совершается в таких языках посредством достаточно ясных логических процедур). Русский же язык не несет в себе этого прямого соединения между грамматикой и заданностью эпистем (структурированных элементов значений (смысла), которые регулируют более глубокие и принципиальные особенности функционирования языка не как способа и особенностей говорения о действительности, но именно что понимания и ее осмысления).

Русский язык эпистемологически и априорно поэтому соединен с некоторыми сверхзадачами существования его самого как способа гносеологического *проникновения* в данное бытие.

Его сущность запрятана не в формах и функциях существования отдельных его элементов, а в присутствии в этих формах особого типа осмысления бытия. Исследователи много пишут об этом в рамках когнитивной лингвистики.

Приведем ряд языковых примеров (безличные высказывания), какие характеризуют феноменологию в том числе русской художественной речи – *печалиться, радоваться, смеркается, вечереет* и т. д.; направленные сами на себя состояния человека, природы, окружающего мира представляются сокращенными концептуальными формулами, в которых спрятано больше философии действительности, чем в специальных исследованиях строго логического рода.

А. Вежицкая, проводя различия между русским и английским языком делает верное замечание: «... В английской грамматике имеется большое количество конструкций, где каузация позитивно связана с человеческой волей» [2, 369]. Что же противопоставляет этому русская грамматика? – «безличные предложения разных типов» [2, 371]. «Эти бессубъектные (или по крайней мере не содержащие субъекта в именительном падеже) предложения, главный глагол которых принимает безличную форму среднего рода» [2, 371–372]. Это принципиально важное наблюдение. Оно приводит к мировоззренческому выводу, что в русском языке «мир в конечном счете являет собой сущность непознаваемую и полную загадок, а истинные причины событий неясны и непостижимы» [2, 372].

В русской культуре на самом деле соотношение *субъекта и мира* имеет отличное от западного варианта значение. Мы не раз в предыдущих своих работах описывали данное различие с точки зрения философии, культурологии, религиозных воззрений. Но анализируя *самые* глубины русского языка, его семантический состав, грамматические структуры, особенности употребления словоформ, приходится определиться с самыми существенными особенностями **р у с с к о й э п и с т е м ы**.

Она, во-первых, почти изоморфна самому языку. Этот язык в своих феноменологических возможностях настолько мировоззренчески точно и ментально благоприятно описывал действительность, что иные возможности (метафизические), также гнездящиеся в русском языке, хотя и гораздо в меньших объемах по сравнению с языками романо-германского круга, не требовались им (языком) для порождения иных дискурсов описания мира. Философские суждения помещались внутри самых грамматических конструкций, их «примитивная» онтологичность требовала иных интеллектуальных усилий для их распознавания и интерпретации, чем это свойственно другим языкам.

Изначальная а-субъектность и ориентация на целостность восприятия жизни присущи русскому языку. «Безличность» значительной части грамматических конструкций в этом языке отражают не его беспомощность в «субъективистском» духе и смысле, а известную онтологическую широту в плане иного и более продвинутого в своей феноменологической целостности подхода к действительности.

Таким образом, *русская эпистема* в своем описании действительности ставит перед исследователем целый ряд трудно решаемых задач. В нее саму и ее своеобразие проще *уверовать*, чем их понять. Она размещается на всем просторе русского языка и может порождать сложный филоосфский дискурс, где угодно и как угодно. Примеры Пушкина, Толстого, Достоевского, Платонова, Булгакова, Пастернака говорят именно об этом. Для нее (этой эпистемы) не существует некоей логической матрицы с жестко очерченными краями и границами, за которые нельзя выходить. Напротив, она как раз и предполагает свободный побег за пределы прежних, уже случившихся в культуре и литературе, дискурсов. Она настоятельно требует этого, так как, исходя из своеобразия своей природы, ей больше всего претит повторяемость, дублирование.

Можно заметить, что избыточной и тотальной «агентированностью» (выражение А. Вежицкой, говорящее о придании языковому высказыванию явно выраженной субъектности)

обладает *сам русский язык*. Это ему принадлежат все права на высказывания и окончательное формулирование всего того, что можно обозначить как русскую ментальность, как инструмент передачи онтологической глубины и своеобразия русского способа мышления и русской души.

Рискнем обозначить это эпистемологическое своеобразие русского языка и, впрямую русской культуры и всего с нею связанного – сознания, ментальности, психологии и прочего, – *как евангелическое*. Автор прекрасно понимает ответственность данного высказывания и самого сопоставления, но ничего другого не приходит ему на ум, как только это сравнение по духу и форме *евангелических высказываний* и *основных словоформ* (слово-мыслей) в русском языке. И там и там явное и безусловное отсутствие той ограничивающей само высказывание *агентированной* логики; само суждение максимально далеко распространяется за пределы самого высказывания и приобретает дополнительный и многосложный смысл. И там и там, *субъект является* прежде всего *объектом*, к которому и направлено высказывание. И там и там символичность пронизывает текст высказывания.

Понятно, что текст Евангелия (во всех его вариациях) не может служить основанием для открытий в области квантовой физики или биохимии, в нем просто не содержится логических предпосылок для совершения мыслительных процедур в области естественных наук. Но те открытия, которые совершил *евангелический текст* в области «внутреннего космоса» человека и человечества, в области нравственности, эмоций и чувств человека, невозможны при помощи д р у г о г о дискурса.

Но в русском языке помимо евангелического начала присутствует и начало *апокалиптическое* (позволим себе так крайне осторожно выразиться). Оно, как ни странно на первый взгляд, вытекает из другого пласта русского языка, оттуда, где находятся «категорические моральные суждения» (термин когнитивной лингвистики). Избыточность негативных суждений самого крайнего рода, говоря попросту – *ругательств*, сравнений человека с разными животными, представителями *Ада*, по сравнению с другими языками не может не поражать. Замечательные исследования этой особенности русской культуры созданы Д. С. Лихачевым, А. М. Панченко, другими исследователями древнерусской цивилизации.

Но, как верно замечает исследователь, в русском языке присутствует и позитивные речевые преувеличения: «Русская речь отдает предпочтение гиперболам для выражения любых оценок, как положительных, так и отрицательных, в частности моральных. Такая любовь к категорическим моральным суждениям, конечно же, является отголоском моральной и эмоциональной ориентации русской души» [2, 383].

Вообще, это характерная черта русской культуры, когда ее защитниками и особыми ревнителями выступают люди, ученые, которые еще вчера были иностранцами для России. В. И. Даль, наверно, самый яркий пример. Но и в дальнейшем было немало подобных примеров. Анна Вежбицкая из их числа. Блестящий исследователь, она с особой чуткостью и глубиной описывает основные концепты русского языка (культуры), и с большинством ее наблюдений трудно не согласиться. Автор данной книги с истинно интеллектуальным удовольствием цитирует близкие ему суждения А. Вежбицкой.

Но тем любопытнее обнаружить в отечественном языкознании, работающем на похожем материале, суждения, отличные от того, что обнаруживается у польской (*австралийской* в последние 30 с лишним лет) исследовательницы. Рассмотрим эту, в общем, не слишком принципиальную разницу. Нам это необходимо для уточнения некоторых моментов.

Вот, к примеру, одна из реакций на ее труд: «Книга А. Вежбицкой «Semantics, Culture, and Cognition» замечательна, в частности тем, что она открывает новый подход к старой и давно зашедшей в тупик проблеме. Действительно, сама по себе идея о выражении языком «национального характера» с одной стороны не оригинальна, а с другой – просто неверна. Задача же отыскания в том или ином языке черт, а ргіогі приписываемых соответствующему «национальному характеру» является устаревшей и, по-видимому, безнадежной» [3, 187–188].

Здесь же надо заметить, что авторы статьи являются одними из видных исследователей в русском языкознании проблем, связанных с русской языковой картиной мира. Книга, из которой приведена данная цитата, полна самых глубоких и справедливых наблюдений на этот счет. И полемизировать автору данной работы не представляется возможным по несовпадению собственно предметов исследования (*язык и аспекты национальной эпистемологии*).

Правда, подобное решительное указание о «неверности» научной проблемы, как это сформулировано именно у авторов данной статьи, а не у А. Вежбицкой, делается в устаревшей форме позитивизма XIX века («национальный характер»), и тут же опровергается следующим комплиментом польскому ученому: «Оригинальность метода Вежбицкой состоит в том, что она идет в противоположном направлении. Анализируя семантику значимых единиц языка (слов, конструкций, морфем) она обнаруживает скрытые свойства человеческой природы, которые при этом оказываются различными у людей, говорящих на разных языках. Таким образом, национально-специфическое в значении единиц данного языка оказывается материалом, на котором может основываться исследователь «национального характера» [3, 188].

Обратим внимание на то, что почти нигде в своих работах А. Вежбицкая не употребляет выражение «национальный характер», предпочитая говорить о «ментальных особенностях» народов, представляющих тот или иной язык. При этом ее анализ основан на глубоком проникновении в семантические и грамматические особенности языка с учетом того, как он формировался на протяжении достаточно длительного времени (явно выраженный исторический подход).

Те примеры, которыми оперируют в своих статьях вышеуказанной книги российские авторы, большей частью основаны на результатах изменения лексики и семантических значений русского языка в основном в XX веке и совершенно не учитывают первоначальные этапы формирования языка, в которых и происходила кристаллизация базовых признаков языкового отражения действительности.

Речь, конечно, не идет о том, чтобы вывести из языка набор черт и свойств того, что так старомодно названо «национальным характером», вопрос в другом (для автора данной книги): насколько мы можем опираться на некоторые аспекты языкового сознания того или иного этноса в его продвинутой форме (с развитым литературным языком, с созданным на его основе художественной литературы мирового уровня) для определения того своеобразия, которое так очевидно и бросается в глаза каждому непредвзятому исследователю.

Пушкин совсем не Байрон, Толстой совсем не Бальзак, а Достоевский не Джойс и так далее по списку. Может самый замечательный пример такого возможного сопоставления – это Бродский, гениальный поэт и блестящий эссеист на русском, и всего лишь талантливый, остроумный публицист на английском (не будем даже говорить о его стихотворных опытах на английском языке). Особый пример В. Набоков, но его «Лолита» на английском и русском это два разных дискурса и два разных произведения, сводимых воедино всего лишь идентичностью сюжета и действующих лиц.

Разделение культур и, соответственно, народов, конкретных людей проходит по этим зыбким и меняющимся границам каждого национального языка, в котором заперты история становления самого этноса, развитие его культуры во всех аспектах, становление его ментальности, формирование психологических особенностей характера, проявление всего этого в труде, поступках, духовной жизни и выражающий свое отличие от другого этноса прежде всего и самым явным образом через язык.

Опредмечивание языка в сознании, конкретной деятельности человека, в создании государства (мы пока еще на этом этапе эволюции цивилизации можем говорить об этом), его роль в проявлении основных черт и структуры исторической жизни народа – все это во многом определяется через языковую картину мира и в результате в ней фиксируется.

* * *

В итоге сама развившаяся эпистемология русского языка, тесно соприкоснувшаяся с запечатленной через нее же историей народа – от летописей до текстов Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова, заставляет исследователя сформулировать некую формулу *русской мысли* так, как она наиболее полно и универсально отражает не только основные правила ее осуществления, но и показывает тенденции, по которым она собирается развиваться в дальнейшем. Очевидно, что семантическая и грамматическая структура *русского языка* тесно связаны со становлением ментальных и религиозных особенностей сознания русского человека. Этот язык, опирающийся во многом на древнегреческую основу, воспринятую им через Византию при посредничестве равноапостольных Кирилла и Мефодия, породил так называемый *восточно-европейский Логос* —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.